

# Как переводить немецких философов?<sup>1</sup>

## С Жан-Пьером Лефевром беседуют Жерар Нуарьель и Петер Шёттлер

**В** связи с выходом нового перевода «Феноменологии» Гегеля мы попросили его автора Жан-Пьера Лефевра, доцента кафедры немецкого языка в Эколь Нормаль Сюперьер в Париже, рассказать нам о своих переводческих «навыках и умениях». Приведем несколько переводов, опубликованных им за последние годы:

- G.W.F. Hegel. *Phénoménologie de l'esprit*. Paris, Aubier, «Bibliothèque philosophique», 1991.
- F. Holderlin. *Journal de Bordeaux*. Bordeaux, William Blake and Cie, 1990.
- H. Heine. *Der Gute Trommler*. Hambourg, Hofman und Campe, 1986.
- K. Marx. *Le Capital I*. Paris, Editions sociales, 1983.
- K. Marx. *Manuscrits de 1861–1863*. Paris, Editions sociales, 1981.
- K. Marx. *Grundrisse*. Paris, Editions sociales, 1980.
- E. Kant. *Essai sur les maladies de la tête*. Toulouse, L'Evolution psychiatrique, 1975.

Жан-Пьер Лефевр опубликовал также роман «Ночь проводжато́го»<sup>2</sup>.

**ЖЕРАР НУАРЬЕЛЬ И ПЕТЕР ШЁТТЛЕР:** *Нам хотелось бы, чтобы ты, опираясь на недавно опубликованный новый перевод «Феноменологии» Гегеля, рассказал нам о проблемах, с которыми сталкивается «профессиональный переводчик» в своей работе; если ты не против, мы хотели бы начать с интеллектуальных и социальных целей и задач, существующих у перевода, начиная с XIX века.*

<sup>1</sup> Перевод выполнен по тексту: Comment traduire les philosophes allemands? Entretien de Gérard Noiriel et Peter Schöttler avec Jean-Pierre Lefebvre // Genèses. 1992. №7. P. 150–162.

<sup>2</sup> *Lefebvre J.-P. La nuit du passeur*. Paris: Denoel, 1989.

ЖАН-ПЬЕР ЛЕФЕВР: На протяжении вот уже не менее чем двух веков сложилось так, что между «техническими» проблемами, которые ставит перевод философских немецких текстов, и интеллектуальным контекстом их восприятия во Франции всегда существовала тесная связь. С начала XIX века восприятие немецкой философии во Франции было проблематичным. Прежде такого вопроса не возникало просто потому, что философы общались между собой либо на латыни (см. даже первые тексты Канта), либо на французском. В XVIII веке Франция была в Европе главным культурным эталоном, а французский язык представлялся естественным средством передачи в картезианской или неокартезианской традиции, будь то в Германии или в Голландии... Лишь англичане избежали этого влияния, создавая тексты на родном языке, что, вероятно, оказало свое воздействие и на восприятие их концепций в Европе (к примеру, Лейбниц читал англичан в переводах на французский). Вопрос перевода делается центральной проблемой лишь в XIX веке, когда язык становится основным параметром определения культуры или национальной «идентичности». Невозможно составить представление об условиях восприятия немецкой философии во Франции независимо от этого изменения конъюнктуры, отмеченного ослаблением французского как «универсального» языка философии в пользу немецкого, который, по меньшей мере, до начала XX века, оставался средством передачи доминирующей философской мысли.

Ж. Н., П. Ш.: *Способны ли были французские интеллектуалы начала XIX века правильно переводить немецкие философские тексты?*

Ж.-П. Л.: Я так не думаю. В действительности на тот момент имелось крайне мало франкоговорящих представителей университетского мира, достаточно знакомых с немецким языком и философией, чтобы верно передать мысли Канта или Шлейермахера; еще меньше было тех, кто мог работать с философией Фихте, Шеллинга и Гегеля, более систематически работающих с языковыми аспектами мысли.

Ж. Н., П. Ш.: *Тем не менее сегодня часто говорят об увлечении романтиков немецкой философией. Я имею в виду Мишле и, конечно, Эдгара Кинэ, который перевел Гердера на французский.*

Ж.-П. Л.: Да, конечно. Это и мадам де Сталь, и затем еще целая традиция; однако влияние их было скорее воображаемым. В филологическом отношении итог этого увлечения довольно скуден. Даже Кинэ не перевел с немецкого. Мать Кинэ была немкой по происхождению, и потому считалось, что он перевел Гердера с немецкого на французский. В действительности же его перевод был сделан на основе английского текста.

Ж. Н., П. Ш.: *Разве политические революционные кружки не интересовались политическими дискуссиями, возникшими в Германии в связи с гегельянством?*

Ж.-П. Л.: И здесь тоже основной оказывается скорее «фантазматическая» сторона дела. Однако вполне возможно, что без нее переводы в полном смысле этого слова вообще бы не возникли. Знание начинается с мнения! Вот почему Маркс, к примеру, резко критикует якобы «немецкую образованность» французских революционеров — Прудона, Леру. Гейне доходит до того, что вовсе отказывает Кузену в знании немецкой культуры. С другой стороны, не следует переоценивать знания иностранных языков политическими изгнанниками. Я не уверен в том, что Маркс написал «Нищету философии» прямо на французском. То же самое и Гейне. Долгое время говорили о том, что он опубликовал часть своих произведений на французском. В действительности, даже те его произведения, которые первоначально были опубликованы на французском языке, были написаны им на немецком, а затем переведены для французских журналов. Чаще всего переводчиком становился какой-нибудь эмигрант-немец, чьи знания французского языка были порой также «ограничены»; в этой связи возникает проблема *переписывания, re-writing*, крайне спорная, если речь идет о Гейне.

Ж. Н., П. Ш.: *Значит, эти тексты тоже следует заново переводить на французский язык?*

Ж.-П. Л.: Именно этим я сейчас и занимаюсь с одним из текстов Гейне. Что касается Маркса, то история перевода «Капитала» предлагает нам увлекательную иллюстрацию данной проблемы. В 1868 году, когда книга была издана в Германии, Маркс и Энгельс задумались об ее переводе на французский язык. После долгих поисков переводчика они, наконец, нашли Жозефа Руа, прудониста, переведившего Фейербаха. Они были уверены в том, что результат получился великолепный, — а значит, они вовсе не разбирались в этом вопросе, иначе они бы так не считали. В конце концов, Маркс занялся совершенно ужасным делом. Я всегда говорю, что от этого он и умер. Взвываясь за проверку перевода «Капитала», он впал в патологически порочный круг. Он осознал, что переводчик не понял многих фрагментов книги, поэтому их следует переписать. Что лишь подогрело его «палимпсестическое» желание, его извечное стремление к тому, чтобы переписать уже написанное. И здесь, я полагаю, сказывается недостаточность опыта, накопленного в области перевода теоретических текстов; своего рода подтверждение некоей наивности, которая сохраняется как минимум до конца века. Мы все еще находимся в мире Гёте — бывшего, однако, крайне внимательным к вопросам жанра и формы и считавшегося переводчиком. Когда Гёте писал то, что сегодня назвали бы адаптацией текста оригинала, он был убежден, что занимается переводом, а не переписыванием. Если мы говорим о литературе, то у нас есть некоторое пространство для маневра: это особенность жанра; но с философскими текстами все обстоит иначе.

Ж. Н., П. Ш.: *Этот пример является прекрасной иллюстрацией относительности критериев, определяющих «хороший» перевод. В какой же момент на университетском уровне происходит кодификация норм, в наши дни определяющих перевод?*

Ж.-П. Л.: До конца XIX века вообще нельзя говорить об университетской традиции перевода. Продолжает доминировать традиция XVI–XVII веков — традиция сопоставления латинских или греческих текстов и их французских соответствий в двух ответвлениях — школьном, которое распространялось через учебники, и теологическом, заключавшемся в комментариях к священным текстам. Проблема перевода возникает, когда картезианская традиция, опирающаяся на универсалистский постулат абсолютной прозрачности сообщения (кто ясно мыслит, тот ясно излагает), вступает в противоречие с усиливающимися национальными культурами. Но в начале XIX века универсалистская традиция во Франции еще столь сильна, что проблемы перевода с одного языка на другой в целом вообще остаются незамеченными.

Ж. Н., П. Ш.: *Таким образом, с самого начала в восприятии Гегеля во Франции возникает некоторая путаница?*

Ж.-П. Л.: Возможно, и нет — как раз потому, что Гегеля перевели поздно. Он умер в 1831 году. К этому моменту в Германии была напечатана лишь малая доля его работ. «Феноменология» вышла в 1807 году тиражом в 750 экземпляров и при его жизни не переиздавалась; затем были опубликованы «Логика», «Энциклопедия» и «Философия права». После смерти Гегеля его берлинские ученики решили издать все его произведения (не только написанные им тексты, но и лекции). Так как во Франции Гегель очень рано приобрел репутацию не только «заумного» автора, но и «бунтовщика», мы понимаем, что прежде всего его взяли переводить те, кого привлекала крамола: республиканцы, либералы, искавшие в немецкой философии элементы, которые могли бы укрепить их положение в рамках французского государственного устройства. То же произошло и с Кантом: ученики Кузена начали переводить его в начале 1830-х годов. В это же время переводят Фихте, Шеллинга, «Лекции по эстетике» Гегеля; позднее появляется выполненный Вера<sup>3</sup> перевод «Энциклопедии», содержащей в себе всю гегелевскую систему. Тогда возникло представление о том, что основные идеи философии Гегеля доступны на французском языке. Вот почему «Феноменологию», «Фило-

<sup>3</sup> Аугусто Вера (1813 – 1875) — итальянский философ и политический деятель. Известен, прежде всего, тем, что познакомил Францию и Италию с философией Гегеля: основные его труды представляют собой переводы и объяснения сочинений Гегеля, написаны большей частью на французском языке. Переводы Вера из Гегеля издавались с 1859 по 1878 год. — *Здесь и далее прим. пер.*

софию права» и «Логика», считающиеся «приложением» к «Энциклопедии», перевели лишь в середине XX века. В начале 1930-х годов Жан Валь переводит отрывки из «Феноменологии», затем Жан Ипполит приступает к первому систематическому переводу — как раз тогда, когда Кожев читает свой знаменитый курс о Гегеле. Вот почему Франция знакомится с большинством книг Гегеля в эпоху, проникнутую идеями марксизма, сюрреализма, Октябрьской революции. Только тогда франкоязычная среда открывает для себя этот удивительный философский язык...

*Ж. Н., П. Ш.: Не противоречит ли это утверждение о позднем знакомстве французских интеллектуалов с трудами Гегеля утверждению Мерло-Понти, сказавшего, что Гегель стал первоисточником всех великих событий в философии за последние сто лет? Имела ли эта задержка в знакомстве с Гегелем очевидные последствия для того, что мы могли бы назвать «национальной традицией» французской философии?*

Ж.-П. Л.: Философия Гегеля, хоть и не напрямую, возымела последствия во Франции еще до появления переводов. Тот факт, что она очень рано стала известна в европейской философской среде, создал миф, предшествовавший знакомству: миф о «сложной», «заумной», «глубокой» философской мысли; отчасти это объясняется тем, что в течение этого времени отношения Франции и Германии постоянно отравлялись войнами и политическим соперничеством, в связи с чем истинное интеллектуальное общение было чрезвычайно затруднено.

*Ж. Н., П. Ш.: Тем не менее в XIX веке многие французские интеллектуалы учились в Германии. Я имею в виду, прежде всего, историка Шарля Сеньобоса<sup>4</sup> или социолога Эмиля Дюркгейма.*

Ж.-П. Л.: Это так. Но это были «индивидуальные» путешествия. Во времена Второй Империи Эдуар Вайан<sup>5</sup>, к примеру, тоже совершил «путешествие в Германию», чтобы встретиться с Фейербахом. Тем не менее чаще всего интеллектуалы открывают для себя немецкую философию в связи с франко-французскими политическими проблемами. Вот почему во времена Третьей Республики философским горизонтом светского республиканского общества становится, прежде всего, Кант. Что же касается Гегеля, то здесь, со всей очевидностью, выстраивается параллель между Интернационалом, который рассматривается как мало-понятное образование, тайком разжигающее политические страсти, и философией Гегеля, которой часто вменяется в вину проповедь «коммунизма», атеизма и т.д.

<sup>4</sup> Шарль Сеньобос (1864 — 1942) — французский историк, специалист по периоду Третьей Республики и член Лиги прав человека.

<sup>5</sup> Эдуар Вайан (1840 — 1915) — французский политик, социалист.

Ж. Н., П. Ш.: *Тем не менее нельзя сказать, что французские революционные партии часто обращались к Гегелю!*

Ж.-П. Л.: Да, конечно, но лишь потому, что революционерам нужны «однозначные» лозунги. В рамках диалектической мысли Гегеля многие формулы могут быть интерпретированы в противоположных смыслах. Начиная с 1820 года, когда была опубликована «Философия права» и сделаны соответствующие выводы из содержащихся в ней тезисов, и до Второй мировой войны Гегеля использовали, в том числе и как провозвестника идей, совершенно неприемлемых для республиканского лагеря. В 1945–1946 Каан<sup>6</sup> предлагает Ипполиту перевести «Философию права» в ответ нацистским идеологам, использовавшим формулы Гегеля для своей пропаганды (в том числе вывешивая их над воротами конц-лагерей). Это другой миф о Гегеле: прусский философ, берлинец, Бисмарк немецкой философии, защитник установленного порядка, которого обвиняют в том, что он оправдывает войны, хотя он просто пытается их объяснить. Отличная иллюстрация очень старого комплекса, особенно распространенного во французской интеллектуальной среде: как только ты пытаешься что-то объяснить, тебя тут же упрекают в том, что ты это оправдываешь. В результате восприятие философии Гегеля во Франции разрывается между бунтарской традицией, использующей его философию истории, его концепцию отрицания и, наконец, его имплицитную теорию революции и государственного права, и консервативной традицией, превращающей его в апостола существовавшего в Германии порядка вещей. И потому, парадоксальным образом, Гегель-революционер рассматривается как «друг Франции», скрытый республиканец, в то время, как Гегель-консерватор представляется врагом Франции. Тем не менее эти две точки зрения не симметричны: представление о Гегеле-враге значительно превосходит представление о Гегеле — друге Франции.

Ж. Н., П. Ш.: *Можно ли рассматривать нынешние споры, противопоставляющие французских переводчиков Гегеля, как очередной этап этого спора «революционеров» и «консерваторов»? Я говорю о различных смыслах слова «aufheben», которое ты переводил — просто и радикально — как «abolir», «упразднить», в то время, как другие стараются сохранить оттенок противоречивости, переводя его как «supprimer en conservant», «отменить, сохраняя». Именно поэтому некоторые журналисты говорят о том, что твой перевод отражает, прежде всего, идеи литературные, присущие «лингвистам», в отличие от переводов, сделанных философами и в большей степени соблюдающих «теоретическую строгость».*

Ж.-П. Л.: Этот пример прекрасно иллюстрирует устойчивость старых философских категорий, все еще имеющих влияние при прочтении

<sup>6</sup> Андре Каан, автор перевода «Принципов философии права» Гегеля на французский язык (1940).

текстов и основанных на упрощенной дихотомии: как будто перевод бывает либо «поэтическим», «литературным» и т.п., то есть «далеким от смысла», либо «тяжеловесным», «неловким»... и «сохраняющим смысл». Я полагаю, не следует бояться утверждения о том, что некоторые тексты тяжеловесны, неловки, некрасивы со стилистической точки зрения, и одновременно недостаточно связаны с точки зрения теории; и наоборот. Во французской традиции перевода существуют тексты, правильные с литературной точки зрения, такие, которые можно и даже приятно читать, так как они теоретически связаны — просто потому, что переводчик понял язык оригинала. В такого рода журналистских комментариях, присущих «центристской» традиции, для каждого найдется свой кусок пирога. Одним говорят: «Вы хорошо играете на скрипке, хотя не до конца улавливаете смысл», а других утешают, говоря: «Вы проделали серьезную работу». В действительности же эти два аспекта сложно различить. После Ницше в дихотомиях подобного рода уже нет смысла, тем не менее такие избитые идеи все еще в ходу во Франции. Это результат разделения интеллектуального труда, оставившего филологов-германистов по одну сторону, а философов — по другую. Философы часто обладают «специализированным», а значит, ограниченным знанием иностранных языков; некоторые учат язык, только чтобы понять текст, и не стремятся привязаться к нему с точки зрения языковой — а это значило бы жить внутри языка в течение долгого времени, говорить на нем, видеть сны на этом языке, обогащать его...

*Ж. Н., П. Ш.: И наоборот, не следует ли иногда упрекнуть лингвистов в том, что они недостаточно знакомы с философскими проблемами?*

Ж.-П. Л.: Именно так часто и говорят философы. В связи с переводом произведений Фрейда было сломано немало копий: с одной стороны, германисты твердили Лапланшу: «То, что вы делаете, смешно, вы выделяете незначительные нюансы», с другой стороны, специалисты по Фрейду небезосновательно обвиняли некоторых германистов: «Вы слишком поверхностны; за словами стоит гораздо больше смыслов, чем вам кажется». В конце концов, в рамках такой логики, все оказываются довольны и остаются при своем мнении. Подобное разделение на германистов и философов представляется мне пережитком XIX века: это сохранение прежних представлений. Я полагаю, что идеал, состоящий в выходе за пределы данной оппозиции, не так уж недостижим. К нему следует идти, в числе прочего, и через установление новых связей, к примеру в лицеях, между преподавателями французского языка и преподавателями философии.

*Ж. Н., П. Ш.: Посредственность предыдущих переводов Гегеля связана с этой дихотомией?*

Ж.-П. Л.: Давайте лучше скажем «недостаточность», а не «посредственность». В условиях той эпохи большинство переводов выглядело вполне достойно. До конца XIX века университеты действительно не обеспечивали в полной мере обучение иностранным языкам. Кроме того, скудость связей между Францией и Германией мешала развитию в изучении немецкого языка. Долгое время по-настоящему изучали немецкий язык только студенты, собиравшиеся стать переводчиками или дипломатами; но в рамках университетского курса не считалось нормальным заниматься переводами. Да и до сих пор еще перевод не считается самостоятельным занятием.

*Ж. Н., П. Ш.: Тем не менее Шарль Андлер<sup>7</sup>, к примеру, отлично знал немецкий: именно он способствовал началу работы над переводами из Маркса во французском университете.*

Ж.-П. Л.: Андлер принадлежит к совершенно отдельной категории. Уроженец Эльзаса, он был практически билингвом, очень интересовался обеими культурами; с исторической точки зрения, его задачей стало информирование представителей одной из этих культур о том, что происходит в другой. Это синдром, который я назвал бы синдромом Романа Роллана: помимо Андлера, он прослеживается, к примеру, у Миндера<sup>8</sup> или Швейцера<sup>9</sup>. Это такой эльзасский синдром, сохраняющийся у некоторых французов и сегодня, но особенно распространенный в исторический период, отмеченный столкновениями Франции и Германии по поводу Эльзаса и Лотарингии. Эти люди перевели некоторое количество текстов; однако их деятельность была столь разносторонней, что, в конце концов, перевели они не так уж и много. Ожидалось, что Андлер переведет «Феноменологию». Он отлично знал текст; он читал его на немецком. Он также написал книгу о поэзии Гейне, в которой очень верно проследил его связь с Гегелем. Но одновременно он писал книгу об истоках немецкого пангерманизма, публиковал сборники, работал во многих учреждениях, преподавал в Сорбонне и т.д. Ему нужно было дергать оборону на многих фронтах, и мало кто мог ему в этом помочь. Вот почему он мало перевел. Точно так же было и с остальными. Люсьен Герр<sup>10</sup> хорошо владел немецким; он отлично знал немецкую и французскую литературу, но его переводческое наследство невелико. То же самое и Миндером. Вот почему эти люди оказались на особом по-

<sup>7</sup> Шарль Андлер (1866 – 1933) – французский германист, профессор кафедры немецкого языка в Коллеж де Франс и Сорбонне. Считается одним из основателей германистики как университетской дисциплины.

<sup>8</sup> Робер Миндер (1902 – 1950) – профессор кафедры германских языков и литературы в Коллеж де Франс.

<sup>9</sup> Альберт Швейцер (1875 – 1965) – теолог, музыкант, философ, врач, уроженец Эльзаса, гражданин Германии, с 1919 – гражданин Франции.

<sup>10</sup> Люсьен Герр (1864 – 1926) – французский интеллектуал, социалист.



ложении: они так были заняты обеспечением взаимосвязей между различными фронтами, что забыли о письме.

Что касается качества переводов, то здесь все весьма неоднозначно. С самого начала переводчики Канта — к примеру, Тиссо<sup>11</sup> или Барни<sup>12</sup> — довольно хорошо справлялись со своей задачей, даже не будучи германистами. Их часто критиковали, но результаты их трудов долгое время оставались актуальными. Это связано с качеством немецкого языка, на котором говорил Кант: он стремился к универсальности, и потому его язык гармонировал с картезианским или неокартезианским дискурсом философского французского языка. Фихте и Шеллинг, напротив, в то время были совершенно уничтожены. Первые их переводы, в том числе и перевод, выполненный бывшим директором Эколь Нормаль, были нечитабельными. Но этих авторов хотели переводить, ведь в то время существовало мнение, что переводить немецких философов — значит, оказывать услугу научному сообществу. Тем не менее такие переводы с самого своего появления подвергались резкой критике. В библиотеке Эколь Нормаль до сих пор хранятся экземпляры с довольно суровыми пометками, сделанными первыми читателями, зачастую приводившими на полях немецкий оригинал. Конечно, для иных учеников это был еще и способ символически расквитаться с директором Школы... Потом пришлось очень долго ждать — вплоть до окончания Второй мировой войны — возобновления переводческого дела. Шопенгауэра перевели поздно, однако правильно. Но и здесь тоже причина в том, что он говорит на исключительно ясном, прозрачном языке; фактически, это философский немецкий язык, борющийся за ясность, резко враждебный гегелевской заумности. В том, что касается перевода, судьба Шопенгауэра оказалась заслуженно счастливой. Гегеля же перевели посредственно. «Лекции по эстетике» были переведены, ибо сам их предмет оказался легко передаваемым. Они требовали дискурса, сегодня уже хорошо разработанного и размеченного, и философии, предполагавшей довольно замедленное развитие спекулятивного подхода, взятого сквозь призму мирового искусства. Таким образом, это произведение не вызывает таких проблем, с которыми сталкиваешься при переводе «Логики» или «Феноменологии».

Ж. Н., П. Ш.: *Таких, как в примере с «Aufhebung»?*

Ж.-П. Л.: В этом случае проблему создает прежде всего даже не «внутренняя» трудность текста, но его последующие толкования. Переводы очень разными людьми произведений Гегеля определили пунктиром границы

<sup>11</sup> Клод-Жозеф Тиссо (1801 — 1876) — преподаватель философии филологического факультета Дижонского университета; перевел на французский язык большинство произведений Канта.

<sup>12</sup> Жюль Барни (1818 — 1878) — французский философ, политик, переводчик Канта на французский язык.

нового жанра: толкования на перевод. Ощущая свою лишенность перед лицом иностранного языка, француз склонен цепляться за то, что я назвал бы «теоретическими буйми»: за концепты. Чтобы понять какой-либо концепт, достаточно посмотреть в словарь, где будет указано наименование этого концепта на французском языке; таким образом, можно представить себе, что ты плывешь. На самом же деле ты вовсе не плывешь, тебя несет буй. В рамках истории французской философии следовало бы проанализировать ситуации великих теоретических споров вокруг таких концептов, как «отчуждение» и т.п., развивавшихся в ущерб вниманию к глагольной системе (весьма развитой в немецком языке), в ущерб всякой синтагматике, в ущерб самой целостности философского дискурса, который можно воссоздать, исходя из риторики.

*Ж. Н., П. Ш.: Пример Хайдеггера являет собой прекрасную иллюстрацию такого рода ритуального спора.*

Ж.-П. Л.: А это уже, считайте, трагедия! Французский язык обречен на то, чтобы ничего не понимать — нам может быть известно пусть даже и пятьдесят различных смыслов одного слова, но то, что объединяет эти пятьдесят смыслов, все равно остается непостижимым. Тут нужно знать язык изнутри. Нужно совершенно проникнуться языком, овладеть им, то есть родиться в данной стране или прожить в ней очень долгое время, что случается крайне редко. Вот почему Хайдеггер обрекает иностранцев на очень скудное представление о себе. С другой стороны, если быть оптимистом, можно счесть такое различие потенциальным богатством; то усилие, которого требует его постижение, выводит мысль на сторону «нехватки».

*Ж. Н., П. Ш.: Парадоксально то, что Хайдеггер куда популярнее во Франции, чем в Германии...*

Возможно, причина этого — в том, о чем я только что говорил, а возможно также и в том, что он постоянно обращается к мифологическому Левиафану «глубины», в том, что рядом с ним всегда обнаруживаются мистики, такие как Бёме или Экхарт. Он все ставит на таинство... Если вернуться к Гегелю, знакомство с ним во Франции вызвало большие споры, опиравшиеся на «теоретические буйи», о которых я только что говорил. Его произведения определялись тремя-четырьмя концептами, ставшими фетишами в философском дискурсе, и прежде всего пресловутым «Aufhebung». Это такой торт с кремом, но ведь невозможно разрезать какой-либо миф для тех, кто хочет этот миф сохранить. В немецком языке «Aufheben» не может иметь позитивного значения, если нет контекста референтов, которые эксплицитно указывают на такое значение. Вне подобного контекста слово сохраняет свой тривиальный смысл: устранить что-либо ранее существовавшее, вывести его за пределы обраще-

ния. Простота этого понятия объясняет то, что когда оно употребляется в своем обычном негативном значении, оно не нуждается со стороны Гегеля ни в какой особой разработке. Два встречающихся случая специальной разработки этого понятия относятся как раз к позитивному его значению, которое Гегель придает этому слову в виде исключения, подчеркивая редкость такого словоупотребления. Вопрос усложняется тем, что не только французы цеплялись за эти «буи». Их «раздутию» способствовала критическая работа самих гегельянцев, действовавших в рамках логики внутренней конкуренции и развивавших свои стратегии «присвоения» наследия Гегеля. Безусловно, то, что комментарии сосредоточились на понятии «Aufhebung», не случайно. «Aufheben» означает упразднить прежнее состояние — это политическая модель Французской революции. Таким образом, «Aufhebung» рассматривалось как необходимый этап идущего по спирали социального развития, такой способ остаться самим собой, идя при этом к абсолютному совершенству. То есть в слове присутствовал необычайно сильный политический ход, политическая ставка — и тогда понятно это невероятное облегчение, с которым была принята идея о том, что это слово может иметь позитивное значение, якобы уравновешивающее его негативную интерпретацию.

*Ж. Н., П. Ш.: Такова лингвистическая версия спора «реформистов» с «революционерами». Можно ли продолжать интерпретировать в том же духе различия переводов, при том что сам подобный жанр политической дискуссии кажется устаревшим?*

Ж.-П. Л.: Проблема, в данном случае, заключается в том, что есть не только «дискуссии», но и практики. Вместе с тем я полагаю, что политические причины всегда имеют вес в сегодняшних спорах о значении слов. Прежде всего, вещи умирают медленно. Книжки, которые публикуются сегодня, были задуманы двадцать лет назад людьми, закончившими учебу еще за двадцать лет до того. И я полагаю, что не случайно в некоторых клерикальных интерпретациях гегелевской философии делается выбор в пользу «экуменической» терминологии, которая уже упоминалась выше.

*Ж. Н., П. Ш.: Точно так же теоретическое обсуждение понятия «отчуждение» вовсе не потеряло своей актуальности...*

Ж.-П. Л.: Здесь тоже цели и задачи перевода являются основополагающими. Вообще говоря, французский язык использует одно понятие *aliénation* там, где в немецком языке имеется два: «Entäußerung» и «Entfremdung»; причем отмечу: ни одно из них не удостоилось упоминания в «Лексиконе Гегеля», составленном Х. Глокнером<sup>13</sup>. Смешение этих двух понятий

<sup>13</sup> Герман Глокнер (1896 — 1979) — немецкий философ, преподаватель, крупнейший специалист по Гегелю в Германии перед Второй мировой войной.

встречается также у Маркса и у Лукача. Тем не менее, есть один семантический нюанс: «Entäußerung» — термин, имеющий экономическое значение; это отчуждение имущества, отделение его от себя и передача его другому лицу, становящемуся его владельцем. Слово это применимо к отчуждаемому имуществу, а в крайнем случае и по отношению к самому себе. Изначально, во французском психиатрическом дискурсе слово «aliéné», «отчужденный», означало человека, который более не принадлежал себе, более не владел собой. Таким образом, между французским «aliénation», отчуждение, и немецким «Entäußerung» обнаруживается определенная согласованность. Но в немецком языке это слово никогда не используется для обозначения умопомешательства. С другой стороны, «Entfremdung» — термин, пришедший из психологии восприятия: это ощущение, возникающее, когда нечто, казавшееся знакомым, более им не является; когда человек лишается не какой-то реальной вещи, но чувства принадлежности к чему-либо. Чтобы передать на французском языке эту разницу, я был вынужден прибегнуть к довольно традиционному для переводчиков решению, состоящему в том, чтобы использовать устаревшее слово и осовременить его; здесь я имею в виду глагол «étranger», «очуждить», использовавшийся во французском языке еще Стендалем. Это не гениальное решение, но лучшее из тех, что я сумел найти. В связи с тем, что в Европе, возможно ненадолго, отношения Востока с Западом утратили присущую им прежде радикальность, нам, возможно, придется изобретать еще более точную терминологию для обозначения новых социальных противоречий и новых аспектов практики лишения собственности, применяемой прямо, косвенно или даже весьма окольно к человеческим существам со стороны капитала. Необходимо также сознавать, что мы пережили достаточно долгий период, в котором две стороны отчуждения смешивались между собой просто потому, что их путали даже те, кто выдумал это понятие. Тем не менее следует отметить, что у Маркса направление развития понятия обозначено четко: мы идем от «Entfremdung» к «Entäußerung», то есть от психологического, феноменологического понятия, учитывающего актуальное состояние сознания и говорящего о том, что нам знакомы и предмет, и объект, к политико-юридической сфере, описывающей и фиксирующей отношения собственности в связи с объектом.

*Ж. Н., П. Ш.: Итак, пример с понятием «отчуждения» показывает, что невозможно полностью перевести один язык на другой? Но если следовать этой логике «несообщаемости» до предела, нельзя ли будет утверждать, что даже в пределах одной «национальной общности» восприятие языка значительно отличается среди представителей различных ее классов? К примеру, действительно ли ты полагаешь, что все немцы воспринимают те нюансы, о которых ты говорил в связи с понятием «отчуждения»?*

Ж.-П. Л.: Совершенно точно не все, но, безусловно, большинство читающих! В этом конкретном случае у меня нет никаких сомнений. Такое раз-

деление, такая дифференциация в приспособлении к языку внутри одной и той же языковой общности, несмотря ни на что, всегда существует в рамках структуры, свойственной данному языковому единству, то есть в рамках структуры того, что для другого полностью утеряно и непередаваемо. Если не уходить от трудностей, возникающих у переводчика, маловероятно, что на уровне внутреннего разделения способов использования языка может найтись средство разрешить проблемы коммуникации на другом языке. Может случиться так, что изменения, вызванные внешними или историческими трансформациями, создадут внутри некоторого языка условия, дающие возможность для возникновения лучших переводов. К примеру, многоязычие в некоем обществе может расшатать изначальное единство языка, что приведет к мобилизации новых резервов и, тем самым, к упрощению дела перевода. Однако на уровне философского языка мы всегда сталкиваемся с потерей. Тем не менее я полагаю, что есть вещи, которые утрачиваются, но в то же время могут оказаться и наиболее передаваемыми. Во всяком дискурсе есть что-то недискурсивное: в речи есть воздух, дыхание, интонации, своего рода секретный язык жестов — и все это может быть сохранено в переводе. Вот почему в своей работе я обращаю внимание на ритм и на то, что в информатике называется «пустословиями»: это легко обратимые слова, вроде «но-или-и-итак-однако-ни-ибо». При переводе самой материальной реальности языка, учитывая его ритм, можно вернуться к тому моменту в синтагме, когда возникает сама концепция рассуждения, его топысы, его темп... или, иначе говоря, партитура, такты, временные рамки, в которых оно пишется... и тогда можно разместить внутри всей этой совокупности все остальное, то есть то, что было утеряно. Ведь многие утерянные детали связаны с взаимозависимостью всех элементов этого эфира, который создается ритмом, дыханием. В потоке в хорошем темпе будет утеряно гораздо меньше, в том числе и на уровне деталей. Существует синкретическое или синтетическое измерение речи, у которого может быть воспроизведена хотя бы оболочка.

*Ж. Н., П. Ш.: Вынуждает ли тебя такой прием к использованию особых техник ознакомления с текстом оригинала?*

Ж.-П. Л.: Да, и это происходит скорее спонтанно. Когда мы теряем смысл фразы, потому что не понимаем в ней какое-то слово, мы обращаемся ко всем непосредственно вспоминающимся нам приемам, сочетающимся с поэтической непосредственностью высказывания, — то есть с его ассоциативным рядом и ритмом. Во французском языке один из классических приемов, используемых, когда мы сталкиваемся с понятием, утратившим свою семантическую периферию, свои отзвуки, свою вездесущность, свою двусмысленность и т.п., — это избыточность, иначе говоря, игра вариаций, компенсирующих потерю за счет развития. Такая система не может использоваться до бесконечности, иначе текст не-

померно разбухнет. Именно на данном уровне переводчик делает свой выбор — это происходит, когда связность всего текста, его предназначение определены богатством, вездесущностью термина. И здесь будет экономично, в прямом смысле слова, удлинить, обратиться к избыточности для усиления. Когда я понял, что Гегель играет с двумя значениями слова «Aufhebung» и сам создает условия для того, чтобы сделать возможной такую неоднозначность, я «подыграл» и перевел это слово как «упразднить и сохранить». Такой гибкий подход к текстам сегодня упрощается благодаря компьютеру. Компьютер обеспечивает нам совершенно эргономичные, в самом широком смысле этого слова, приемы работы. Можно поставить клавиатуру перед текстом, который мы будем переводить. Затем принять позу музыканта. У нас есть инструмент, клавиатура, а перед глазами — текст, который нужно «сыграть»; так нам легче будет проникнуть внутрь иноязычного текста. В таком случае, по моему мнению, присутствие иноязычного текста оказывается куда более значительным. К примеру, можно отказаться от многих телесных движений, необходимых для поисков текста: можно переводить в рамках непрерывного восприятия. Мы набираем текст на компьютере, и текст возникает на экране, при этом нам не нужно обращать на него внимание. Мой перевод появляется с многочисленными опечатками, но я продолжаю «играть свой отрывок». Кроме того, поскольку клавиатура безмолвствует, и я могу еще сильнее сконцентрироваться на тексте, прилагая к этому минимальные мышечные усилия. Таким образом, мне удастся еще глубже проникнуть в ритм и темп текста. Дополнительные действия — это исправление и переписывание, проверка того, не забыл ли я что-нибудь в своем первом варианте перевода.

Ресурсы, предоставляемые компьютерными технологиями, позволяют также работать и в ином ключе. К примеру, понятие «Sittlichkeit» представляет собой сложную проблему, хорошо известную в немецкой философской традиции. Благодаря тому, что у моего компьютера большой объем памяти, я смог быстро, по ходу работы, сравнить различные варианты сделанного мною перевода этого понятия, имеющиеся в нескольких текстах длиной примерно по пятнадцать страниц каждый, — все это с помощью опции Ctrl+N (найти/заменить) приложения Word. Использование текста *апостериори* — интересный ресурс: он позволяет в ходе беглого прочтения обнаружить решения, для поиска которых раньше потребовалось бы значительное время. То же верно и для количественных техник. Воспользовавшись полностью оцифрованной немецкоязычной версией «Феноменологии», я смог подтвердить, что то или иное слово появляется в оригинальном тексте лишь изредка. К примеру, чтобы при переводе сделать выбор между словами «рациональный» и «разумный», я стал искать у Гегеля случаи использования прилагательного «vernünftig» и обнаружил, что во всем тексте оно встречается всего девять или десять раз. Это позволило мне унифицировать французский перевод, оставив в нем прилагательное «разумный».

*Мог бы ты, в завершение, рассказать нам о своей интеллектуальной подготовке к переводческой работе?*

В целом, я полагаю, что невозможно правильно перевести какого-либо автора, если ты не знаком с его произведениями. Такое знакомство означает для меня скорее знание самих текстов, чем изучение сочинений об авторе. Что касается Гегеля, то когда мне было лет семнадцать — восемнадцать, я уже читал переводы Ипполита. После этого в течение тридцати лет я прочел еще порядка пятнадцати произведений — и это немного. Но мне кажется, что главное — это «проносить» в себе текст. Я уже давно работал со своими студентами над текстами Гегеля, Гейне, Канта. Мы даже перевели вместе две главы «Феноменологии». Но в то же время я чувствовал необходимость отойти от Гегеля. Мне нужно было практиковать немецкий язык иначе, чтобы не остаться связанным «Феноменологией». Вот почему я предпочел подойти к языку с другой стороны — и прежде всего я обратился к поэзии, к переводу произведений Гейне и Гёльдерлина. В это же время я переводил Канта и Маркса. Но я также перевел и один совсем современный роман; и я полагаю, что мне не случайно удалось в процессе перевода «Феноменологии» закончить работу над своим романом, замысел которого был у меня уже очень давно. Иначе говоря, чтобы знакомство с текстами того или иного автора помогало в работе над ними, нужно также уметь от них дистанцироваться...

*Перевод с французского Марины Бендет*